

ОРЛАНДО

Глава первая

Он — потому что пол его не подлежал сомнению вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды — был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос — как пух на кокосе. Отец Орландо — или, может быть, это дед — снес ее с саженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки; и теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсекшему ее лорду.

Праотцы Орландо скакали верхами по полям асфodelей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему не исполнилось и семнадцати, еще не дорос, его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тихонько ускользал от матери, от павлинов в саду, крался на чердак и там делал выпады кинжалом, приседал, наклонялся, резал воздух клинком. Иногда он перерезал веревку, и тогда голова скатывалась на пол, и приходилось снова ее привязывать, не без почтения крепя почти в недосягаемости, и враг победно скалился черным, иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимою и летом. Предки Орландо были высокородны — всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана

на в коронах пэров. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орlando сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что, тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орlando окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарилось исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивного лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающий его жизнь биограф! Ей никогда не придется печалиться, ни ему — нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орlando, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком; пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейше-белых зубов. Без сучка без задоринки был задорно стремительный нос; волосы темные; и маленькие, тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет неполон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого; ибо, едва мы взглянем на стоящего у окна Орlando, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой; а лоб — как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза — и мы бог знает до чего можем договориться. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза — и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан сколь-

зять всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало — например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Туитчетт, своей горничной; увиденное его восхищало — деревья, птицы; влюбляло в смерть — вечернее небо, снижающиеся грачи; и, взлетев по спиральным ступенькам мозга — а мозг был вместительный, — увиденное, смешавшись с садовыми звуками — треск деревьев, стук топора, — вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако, — Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу.

Скоро он намарал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактна. Порок, Преступление, Нужда были персонажи драмы; Король и Королева правили неозначаемыми территориями; ужасные замыслы их поглощали; благородные чувства снедали; ни слова не говорилось так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст — ему еще не исполнилось и семнадцати — и тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, — были поистине замечательны. Но вот, наконец, он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу и, чтобы как можно точнее передать оттенок зеленого, он взглянул (проявляя незаурядную смелость) на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое — это одно, зеленое в литературе — другое. Природа со словесностью не в ладу от природы; попробуйте-ка их совместить — они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между

цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату, только подумайте «много ли мне суждено еще увидеть закатов» и т. д. и т. п. (мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком), и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук. Потому что Орlando был чуточку неловок.

Он старался никого не встретить. Стаббс, садовник, шел по тропе. Орlando прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани — все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, тачали сапоги, — ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами, — и, никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами; одно тянет за собой другое; и биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орlando, конечно, любил уединенные места, просторные виды — любил чувствовать, что он один, один, один.

И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств — в уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки, и скользящие по ним лодочки; и плившие к морю галеоны; и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром; и форты по берегам; и замки среди лугов; а там сторожевую башню; там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орlando, огромный, как город, и обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым; а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая

вершина и острые зубцы Сноудона* сквозили между облаков. Минуту Орландо стоял, подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца; вот дядин. Тетушкины — те три башни среди деревьев. Поля были их, и леса; фазаны, олени и лисы, бобры и бабочки.

Он глубоко вздохнул и припал — в движеньях его была страстность, заслуживающая этого слова, — к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет; за каковой принимал он твердый корень дуба; или — ибо образ находил на образ — то был мощный круп его коня; или палуба тонущего корабля — не важно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем; сердцем, тянущим в путь; сердцем, которое будто наполняли тугие, влюбленные ветры, каждый вечер, едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг; затихнув, повисали листочки; замирали олени; останавливались летние бледные облака; затекали и тяжелели его члены; и он очень тихо лежал; и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы, — будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывало его тело.

Через час, наверное — солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловою, синевою лес, и долины почернели, — протрубил рог. Орландо вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины; откуда-то из темноты; из тесноты; из лабиринта; из города, препоясанного стенами; он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но, пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик; были высокие, важные огни, какие го-

* Гора в Уэльсе. — (Здесь и далее прим. переводчика, если не указано иное).

рят в пустынности пиршественных зал, в ожидании гостей; и еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках у слуг, когда те кланяются, преклоняют колена, со всею пышностью вводя в покои Владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала Королева.

Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз. Метнулся в ворота. Взлетел по винтовой лестнице. К себе. Чулки швырнул в один угол, куртку — в другой. Он смачивал волосы. Тер руки. Полировал ногти. Перед маленьким зеркалом, при двух оплывших свечках натянул алые бриджи, надел плоёный воротник, тафтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов — все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задышался. Но он опаздывал ужасно.

Срезая расстоянье, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, на пять акров отдаленной от всех замковых сторон. Но как он ни спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь, — без сомненья, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканом платье. Он держал в руке перо, но не писал. Казалось, он перекатывал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкаченные, застланные, похожие на странные зеленые камни, он впери́л в одну точку. Орландо он не видел. Как ни спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне, — хотелось крикнуть Орландо, — расскажите обо всем на свете», — ибо о поэтах и стихах были у него самые дикие, самые нелепые понятия, — но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское? А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руке перо и так и эдак; и думал с неподвижным

взором; и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой Королеве.

Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями; но и того довольно.

Рука врезалась в память; тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука; повелительная; рука, по манию которой слетает с плеч любая голова; рука, как догадался он, соединенная со старым телом; которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках; и, однако, обряжено в парчу и жемчуга; прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно ждали — чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего, хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений — черная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин и великая Королева, сонные поля и толкотня слуг — словом, он не видел ничего; точнее, видел только руку.

Королева же, из-за аналогичного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой Королевы — ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, — то, разумеется, и голова, с тронной высоты увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно, — разве не свидетельствовали о паре стройнейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа; о фиалковом взоре; о золотом сер-

дце; о верности владычице и мужских чарах — всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильнее, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо Королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистали то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась; и слышала канонаду со стороны Ла-Манша; она вздрагивала; что это — ругань? шепот? Невинность, простота кажутся еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому, в ту же ночь, если верить преданию, пока Орландо крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своею подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, — отцу Орландо.

Орландо всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но может быть — кто разберется в женском сердце? — именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, — именно это все и удержало воспоминание о юном родиче (они были родня) в сердце королевы? Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет, Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов, — как поступило известие, что Королева ждет его в Уайтхолле.

— А! — сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей. — А вот и мой непорочный мальчик! (В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значенье было уже к нему неприложимо.)

— Приблизься! — сказала она. Прямая, как проглотил аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те, прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки — все это она оглядела; и губы у нее явственно подрагивали; но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был — живой образчик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый ястребиный взор,

словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия — она читала, как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо (сустав заметно вздулся) и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи; потом наложила на него цепи службы; и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден Подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он гарцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело, как допустить, чтоб эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которых уложили ее фрейлины (она была слаба, стара), и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав — она уже месяц не меняла платья, — от которого пахнуло, подумал он, вспомнив впечатления детства, ну в точности как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохшись в этих объятьях.

— Вот она! Вот она — моя победа! — шепнула Королева, и тут как раз взвилась ракета и облила багрянцем царственные щеки.

Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, и не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней; целебным бальзамом; могучей опорой на склоне сил. Она расточала эти посулы и странные, деспотические нежности (они теперь были в Ричмонде), проглотив аршин, в негнушейся